

Кристина Соль



Чужая при дворе императрицы



書通天下

戶部
禮部
兵部
工部

18+

Кристина Соль

Чужая при дворе императрицы

«Автор»

2026

Соль К.

Чужая при дворе императрицы / К. Соль — «Автор», 2026

Двенадцать лет Вера Чернова доказывала, что «Записок о дворе Тяньхуан» не существовало: красивая подделка, выдуманное царство, императрица, которой не было. Она погибла в библиотеке, доставая с полки этот самый том. И очнулась в теле придворной дамы — при том самом дворе. У неё есть преимущество, о каком не мечтал ни один историк: она знает всех. Знает, кто предаст, кто выживет, кто получит должность и чьё имя вычеркнут. Знает даже, чем всё закончится: заговор против императрицы удастся. Есть только одна беда. Знание Веры — не пророчество, а чужой отчёт, написанный победителями по их бумагам. Он правдив в каждом слове и лжив в устройстве. И он отстаёт от жизни на три года. Заговор уже идёт. Придворную даму, в чьём теле она проснулась, отравили за то, что та прошла мимо приоткрытой двери. А единственный кто готов работать с Верой на равных, — посол западных земель, который считает не родословные, а пошлины на переправах, и которому она не может объяснить, откуда знает то, что знает.

© Соль К., 2026

© Автор, 2026

Кристина Соль

Чужая при дворе императрицы

Глава 1. Библиотека

В хранилище на третьем этаже отопление отключали в одиннадцать, вместе с общим светом. После этого зал жил на двух настольных лампах и на честном слове вахтёра Николая Петровича, который выдавал мне ключ уже четвёртую зиму подряд и каждый раз спрашивал одно и то же: «Вера Андреевна, вы там хоть чайник берите».

Чайник я не брала. Я брала перчатки без пальцев, термос и список шифров.

За окнами шёл дождь пополам со снегом — та московская февральская каша, которая не ложится и не течёт, а просто висит в воздухе и садится на стекло серой плёнкой. Свет фонаря со двора проходил сквозь эту плёнку и растекался по корешкам нижних полок мутными полосами. Пахло бумагой, пылью и остывшим клеем. Этот запах я узнала бы с закрытыми глазами из тысячи, и он значил для меня примерно то же, что для нормальных людей значит запах дома.

Мне был нужен один том. Спецхран, третий стеллаж от окна, верхняя полка, куда его убрали лет двадцать назад, потому что убирать наверх принято то, что никому не нужно.

«Записки о дворе Тяньхуан».

Рукопись, из-за которой я поссорилась с научным руководителем, потеряла две конференции и, если честно, часть репутации. Считалось, что это поздняя компиляция — красивая, подробная, стилистически безупречная и полностью выдуманная. Двор императрицы, которой не было. Царство, которого не было. Эпоха Нефритового Дракона, не влезающая ни в одну хронологию.

Я двенадцать лет доказывала, что этого не существовало.

Доказывала подробно. Я знала эту рукопись наизусть — не в том смысле, в каком люди говорят «наизусть» про песню, а в том, в каком её знает человек, сверявший каждый лист с каждым описанием у пяти комментаторов. Я знала, кто там кому кланяется. Знала, в какой главе появляется советник с опущенным левым веком и в какой главе он исчезает. Знала, у кого из чиновников фальсифицировали результаты экзаменов и на каком году правления это вскрылось. Знала имена всех, кто умер, и всех, кто выжил.

Знала — и полагала, что всё это придумал в тиши кабинета какой-нибудь очень одарённый и очень одинокий человек.

Стремянка была старая, с колёсиками, которые полагалось стопорить pedalю. Pedаль я нажала. Я всегда нажимала.

Наверху пахло сильнее — там пыль лежала слоями, нетронутая. Я нашла корешок на ощупь раньше, чем глазами: тиснение под пальцами шло не так, как на соседних. Потянулась.

Том оказался тяжелее, чем я помнила. Я перехватила его двумя руками, и в этот момент стремянка сдвинулась — коротко, сантиметров на десять, сухо стукнув колесом о паркет.

Успела подумать: не может быть, я же стопорила.

Успела подумать: если упаду — на левый бок, там мягче.

Успела подумать что-то совсем короткое и глупое про то, что не отправила рецензию.

А потом пол оказался очень близко, и с той стороны, откуда его не ждёшь, и звук был не такой, какого ждёшь, — тихий, будничный, с каким роняют на пол стопку журналов.

Свет ламп сузился до двух точек и погас.

Нелепая смерть. Вообще без сюжета. Даже неловко.

Первым вернулся звук.

Женские голоса — два, может быть три, вполголоса, с той особой интонацией, с какой говорят рядом с больным: слишком ровно, чтобы быть спокойной, слишком тихо, чтобы

быть естественной. Где-то капало. Мерно, с большим промежутком, вода падала с карниза на камень.

Потом вернулся запах, и вот он меня озадачил не на шутку, потому что был неправильный. Больницей не пахло. Пахло сандалом, дымом и чем-то сухим и сладковатым поверх — гвоздика? Не гвоздика. Что-то смолистое.

Я открыла глаза.

Надо мной был потолок из тёмного дерева. Балки шли поперёк, широко, и по нижней грани каждой шла роспись — красная киноварь по чёрному лаку, растительный орнамент с завитком, уходящим внутрь себя.

И вот тут мой мозг сделал то единственное, что умел делать в ситуации полного непонимания.

Он начал датировать.

Завиток закрытый, лепесток сдвоенный, промежутки заполнены — значит, поздняя манера, не ранняя. Киноварь по чёрному, без золота, — значит, не парадное помещение, жилое. Балки открытые, без подшивного потолка — значит, статус хозяйки помещения средний или ниже среднего.

Я повернула голову.

Ширма. Четыре створки, шёлк по деревянной раме, тушь. На третьей створке — четыре строки, написанные уверенной рукой человека, который пишет каждый день.

Я прочитала их прежде, чем сообразила, что читаю.

Дождь перестал, и на камне остался узор. Кто-то пройдёт и не поднимет лица. Гость с запада ставит чашу, не допив до дна, — значит, дорога его ещё не окончена.

Я знала эти строки. Они приводились в комментарии ко второй главе «Записок» как пример придворной лирики, и я в своё время написала полторы страницы о том, что они стилизованы неудачно и выдают руку компилятора.

Судя по всему, компилятор писал их прямо здесь.

Дальше глаз начал различать детали, и каждая деталь была ударом по одному и тому же месту.

Шёлк на мне — не сплошного крашения, с переходом от плеча к рукаву, и переход этот сделан способом, о котором я читала и который никогда не видела своими глазами. Рукав длинный, широкий, обшит по краю тесьмой в два пальца шириной. Под рукавом — моя рука.

Не моя.

Ужé моя, но не та, с которой я прожила тридцать один год. Пальцы тоньше и длиннее, на среднем — след от письменной кисти, характерное утолщение сбоку, какое бывает у людей, много пишущих. Ногти острижены коротко и ровно. На запястье синяк — старый, желтеющий, в форме, которая мне не понравилась.

Я лежала и смотрела на этот синяк, и была абсолютно спокойна, потому что в голове ровным голосом шла опись имущества: покрой, окраска, тесьма, роспись, ширма, каллиграфия, характер повреждения мягких тканей.

Пока я описывала, я не сходила с ума. Удобное свойство, о котором я прежде не подозревала.

— Госпожа очнулась, — сказала одна из женщин.

Я её поняла.

И вот это было по-настоящему страшно — страшнее рук, страшнее потолка. Я читаю на трёх языках и на двух из них не умею попросить воды. Я всю жизнь имела дело с мёртвыми текстами, и живая устная речь для меня всегда была чужим ремеслом.

А сейчас женщина сказала фразу, и фраза просто была понятна. Как русская.

Надо мной склонились. Лицо круглое, молодое, испуганное; волосы убраны гладко, без украшений — прислуга. За её плечом — вторая, постарше, с одной шпилькой.

Шпилька была серебряная, с головкой в виде птицы. Я успела подумать, что такие датируются серединой периода, и мне стало неприятно от самой себя.

— Три дня, — сказала та, что помоложе. — Три дня в жару, госпожа Лин Юэ. Мы уже за лекарем посылали второй раз.

Лин Юэ.

Имя вошло не как звук, а как ключ.

Оно провернулось где-то за глазами, и оттуда пошло — не связно, кусками, как когда листаешь чужой альбом. Лестница у восточной галереи, двадцать одна ступень, четвёртая скрипит. Женщина с высокой причёской, перед которой полагается опускать взгляд ниже её плеча. Запах жжёной коры из курильницы в утренние часы. Как складывать руки при поклоне младшего ранга: левая поверх правой, большие пальцы внутрь. Где в этой комнате лежат бумаги — под настилом, третья доска от стены.

Лица. Много лиц, без имён и без объяснений, просто узнавание: этого бояться, этой кланяться, с этой можно молчать.

И ни одного слова о том, кто здесь кому враг.

Память тела, память привычек, память рук — всё выдали. Политику не выдали. Политику, судя по всему, мне предлагалось иметь свою.

— Воды, — сказала я.

Сказала вслух. Своим — не своим — голосом, ниже, чем ожидала, и на языке, которого никогда не изучала в устной форме.

Мне подали чашу. Я пила, и держала её правильно, двумя руками, и это правильное движение сделали не мои мышцы, а её.

— Какой сегодня день, — спросила я.

Молодая заморгала.

— Двенадцатый день второй луны, госпожа.

— Год.

Она посмотрела на старшую. Старшая ответила ровно, без выражения, тем тоном, каким отвечают человеку, у которого после жара помутилось в голове и которого не надо этим пугать:

— Четвёртый год Нефритового Дракона.

Чашу я не уронила. Я поставила её на подставку, и рука у меня не дрожала, и вообще внешне со мной ничего не произошло.

Нефритовый Дракон — четвёртый девиз этого царствования, и идёт ему четвёртый год, а самому царствованию — восьмой.

Внутри у меня в этот момент рухнула диссертация, две статьи и двенадцать лет работы.

К полудню я уже стояла.

Стоять было полезно по двум причинам. Первая: лёжа я думала, а думать пока не следовало, потому что каждая додуманная до конца мысль упиралась в стену. Вторая: младшая придворная дама, которая три дня пролежала в жару, а на четвёртый продолжает лежать, привлекает внимание. Внимания я хотела меньше всего.

Дождь кончился под утро. Я вышла в галерею и остановилась, потому что не выйти и не остановиться было невозможно.

Черепица блестела. Она шла вниз двумя маршами, тёмно-серая, вымытая, и по краю каждого ската вода ещё собиралась и падала — та самая, что я слышала. Двор внизу был вымощен серым камнем, и на камне стояли лужи, идеально плоские, и в каждой луже лежало небо.

Небо было низкое, белое, разъезжающееся. За ним, дальше, поднимался холодный февральский — второй лунный — воздух, и в этом воздухе стоял город.

Великий Лун лежал квадратами.

Я видела его сверху, с галереи второго яруса, и он был точно такой, каким я его чертила на семинарах: кварталы правильными прямоугольниками, улицы прямые, ворота на осях, барабанная башня слева, и над всем этим — дым. Тысячи очагов, поднимающих дым в неподвижное утро, так что над крышами стоял ровный сизый слой, и сквозь него дальние кварталы просвечивали как через кальку.

Я реконструировала эту планировку по описаниям. Мы спорили о ширине проспекта. Я говорила — переписчик преувеличил, столько не бывает.

Проспект был шире, чем в самой смелой моей реконструкции.

— Госпожа плохо себя чувствует?

Рядом стояла девушка примерно моего нового возраста, в таком же платье, но с двумя шпильками. На полступени выше по рангу и очень довольная этим обстоятельством.

Память Лин Юэ подала: Сяо Хэ. Не враг. Болтает.

Болтает — это было именно то, что мне требовалось.

— Голова, — сказала я. — Всё путается. Расскажи, что было, пока я лежала.

Сяо Хэ обрадовалась.

Дальше я четверть часа стояла у перил, смотрела на мокрые крыши и слушала, как мне бесплатно излагают положение дел при дворе. Экзамены через месяц, и в Великий Лун уже съезжаются, и на постоянных дворах в южных кварталах не осталось мест, и один из съехавшихся — сын лавочника, представляете, лавочника, — говорят, пишет так, что его читают вслух в чайных.

Кэцзюй. Экзамены, открытые для любого мужчины, независимо от рождения. Реформа, ради которой императрица переломила хребет половине старых родов.

— А кланы? — спросила я как можно ленивее.

— Ой, — сказала Сяо Хэ и понизила голос как раз настолько, чтобы это было слышно на весь двор. — Господин Вэй говорит, что при таком порядке скоро судьями станут сапожники.

Я не изменилась в лице. У меня было большое преимущество: я двенадцать лет читала про это лицо, и в источнике оно менялось только один раз, в самом конце.

— Господин Вэй много говорит, — сказала я.

— Господину Вэй можно.

Вот это была информация. Не про Вэя — про двор. При дворе, где женщина правит лично и беспощадно, есть человек, которому можно вслух.

Значит, у него за спиной стоит достаточно.

Я оттолкнулась от перил. Внизу, во дворе, слуга нёс через лужи жаровню на длинных ручках, и угли в ней дышали красным, и там, где он проходил, от мокрого камня поднимался пар.

Я подумала о том, что должна была бы сейчас плакать, кричать или искать способ проснуться.

Вместо этого я составляла список вопросов к источнику.

Похоже, из всех возможных попаданок мироздание выбрало самую скучную.

Обязанности нашлись сами.

К часу овцы за мной пришли — не за мной лично, а за всеми младшими дамами западного крыла, — и повели вниз, в переход между дворами, где полагалось стоять вдоль стены, пока проходит дневной совет. Стоять и не поднимать головы выше уровня чужого пояса.

Я стояла и не поднимала. Тело знало, как это делается, и делало само, и я была этому телу благодарна, потому что моё собственное внимание было занято другим.

Я считала шаги проходящих.

Их прошло много. Сначала младшие чины — быстро, мелко, суетливо. Потом пауза, заполненная запахом курильниц и шорохом. Потом пошли те, кто шёл медленно.

По этим я и работала. Обувь, край одеяния, цвет подкладки, посадка на ногу. Я могла бы назвать ранг каждого с точностью до ступени, и это было первое за всё утро, что доставило мне удовольствие.

А потом один остановился.

Он остановился прямо напротив нашего ряда — не передо мной, чуть левее, — и заговорил с кем-то невидимым мне о совершенно постороннем: о том, что мост через южный канал опять просел и что чинить его будут, как всегда, после того, как кто-нибудь утонет.

Голос был сухой, негромкий и очень приятный. Голос человека, который никогда не повышает тона, потому что ему незачем.

Я подняла глаза.

Я знала, что нельзя. Я сделала это до того, как решила.

Ему было около шестидесяти. Худой, прямой, с той сухой прямоотой, которая у некоторых стариков заменяет здоровье. Борода узкая, редкая, ухоженная. Скулы высокие.

Левое веко опущено чуть ниже правого. Не уродство, не болезнь — особенность, из-за которой лицо у него всегда выглядело слегка усталым и слегка насмешливым одновременно.

На шее, у самой линии воротника, родинка.

Я знала это лицо.

Не встречала. Знала.

Фронтиспис ко второй части. Гравюра на дереве, поздняя, скверного качества, с подписью в четыре знака. Она воспроизводилась в двух изданиях, и во втором её обрезали по краю, и я в примечании ворчала, что при обрезке потеряли часть подписи.

Я смотрела на эту гравюру двенадцать лет.

Я писала, что человека, изображённого на ней, не существовало.

Он повернул голову и посмотрел на меня.

Не с интересом. Так смотрят на предмет обстановки, который стоит не там, где стоял вчера, — короткое, механическое отмечание неправильности.

А потом он слегка наклонил голову. Не поклон. Обозначение поклона, которое старший делает младшему, когда хочет, чтобы младший это заметил.

И пошёл дальше.

Стена за моей спиной была холодная, и я очень хорошо чувствовала её лопатками, и вот это ощущение — холодный камень через два слоя шёлка — оказалось единственным, за что я могла держаться.

Мироздание, значит, ошиблось. Не рукопись была подделкой.

Подделкой были мои примечания.

Я стояла в переходе между дворами и с абсолютной, тошнотворной ясностью понимала, что у меня теперь есть.

У меня был весь этот двор. Целиком. Все родословные, все союзы, все предательства, все имена. Я знала, кто из проходивших мимо меня людей через год будет казнён, а кто получит должность, и знала, за счёт кого. Я знала, что заговор против императрицы уже собран и что он созреет к концу этого года.

И я знала, чем он кончится, потому что в «Записках» это было изложено сухо, в двух строках, и я цитировала эти две строки в докладе, и мне тогда даже понравилось, как чисто автор компиляции обошёлся с трагическим материалом.

Заговор удался.

— Госпожа Лин Юэ.

Голос был мужской, высокий, ровно поставленный — распорядитель.

Ряд дам вдоль стены шевельнулся. Я почувствовала это боком: они все, до одной, повернули головы.

— Госпожа Лин Юэ, — повторил он, глядя куда-то поверх меня, как полагается. — Её величество ожидает вас.

Сяо Хэ рядом перестала дышать.

Младших придворных дам не вызывают к императрице. Их вообще не вызывают — их переставляют, как жаровни. Я знала это из памяти Лин Юэ, из того, как побелели лица вокруг, и ещё из одного места, о котором старалась не думать.

— Сейчас? — спросила я.

— Сейчас.

И вот тогда — не при виде гравюры, не при виде города, а именно тогда — во мне наконец сдвинулась та последняя деталь, которую я весь день держала в стороне.

В «Записках о дворе Тяньхуан» имя Лин Юэ встречалось один раз.

В четвёртом году Нефритового Дракона. В перечне придворных дам, умерших до начала весенних экзаменов.

Я сама сверяла этот перечень. Я сама писала на полях, что он, скорее всего, вставлен позднее, для придания достоверности.

Я расправила рукава, сложила руки — левая поверх правой, большие пальцы внутрь — и пошла за распорядителем.

Глава 2. Тяньхуан

Идти пришлось далеко.

Мы прошли западный двор, потом переход, потом ещё один двор, где под навесом сушились на растяжках свитки, и я успела отметить, что сушат их неправильно, слишком близко к жаровне, и что через год эта бумага пойдёт волной. Потом были ворота, и у ворот стояли двое, и они не смотрели на нас, и от того, как именно они не смотрели, у меня похолодели пальцы.

Распорядитель шёл ровно, не оглядываясь. Я шла за ним и работала.

Работать было чем. Императрица Тяньхуан занимала в «Записках» больше места, чем все остальные вместе, и при этом оставалась в них дырой — из тех дыр, которые чем подробнее описываешь, тем меньше понимаешь.

Я знала о ней всё, что можно знать о человеке из документов. Взошла в пятьдесят пять — в тот возраст, в котором другие подают о покое. Взошла не по крови: она была вдовой государя, второй женой, матерью двух умерших сыновей, и когда род пресёкся, оказалось, что из живых один только она знает, как устроено делопроизводство. Её посадили на два года, чтобы разобрать бумаги. Она осталась. Правит лично, без регента, без соправителя, без мужчины при себе, и это единственное, чего ей не простили. Сломала систему назначений по рождению и заменила её экзаменами. Казнила двоих из тех, кто помогал ей взойти. Трех из тех, кто пытался помешать, помиловала и приблизила.

Про её характер во всех источниках писали одно и то же слово, и слово это было — «непроницаема».

Про её характер во всех источниках писали одно и то же слово, потому что все источники переписывали друг у друга. Это я тоже знала.

Так что к дверям я подошла, имея в голове идеальный портрет человека, о котором не знала ничего.

— Здесь, — сказал распорядитель.

Створки развели изнутри.

Первым было тепло.

Тепло и запах — не сандал, что-то тяжелее, с горчинкой, из низких курильниц по обе стороны от входа. Пол был застелен циновками поверх дощатого настила, и настил под циновками отзывался на шаг мягко, глухо.

Зал шёл вглубь. Не вширь — вглубь, четырьмя рядами столбов, и столбы были покрыты чёрным лаком, и на чёрном шла роспись киноварью, та же, что на балках у меня в комнате, только сделанная рукой на порядок дороже.

В дальнем конце окна выходили на юг, и там висел белый февральский свет, и на фоне этого света всё, что находилось перед ним, читалось силуэтом.

Я опустила глаза на положенную высоту и пошла вперёд, отсчитывая шаги.

Что я собиралась делать, я не знала.

Это ощущение было для меня новым и крайне неприятным. Всю сознательную жизнь я приходила на любое обсуждение, зная материал лучше всех присутствующих. Сейчас я тоже знала материал лучше всех присутствующих — и это ничем мне не помогало, потому что материал сидел в двадцати шагах от меня и был жив.

— Ближе.

Голос был низкий для женского, ровный, без нажима.

Я подошла ближе и опустилась на колени так, как это умело тело Лин Юэ, и лоб к сложенным рукам, и всё это заняло одно движение, и я мысленно поблагодарила покойницу за годы тренировки.

— Подними голову.

Я подняла.

Тяньхуан сидела не на возвышении. Она сидела на низкой платформе у окна, боком к свету, и перед ней стоял столик с бумагами, и в руке у неё была кисть, которую она не отложила.

Ей было за шестьдесят. Лицо широковатое, крепкое, без той хрупкости, которую любят приписывать красавицам в романах. Волосы убраны просто. Ни одного украшения, кроме шпильки, и шпилька была деревянная.

Женщина, которая может позволить себе деревянную шпильку в зале, где у младшей дамы серебряная, — это заявление. Я оценила.

А потом она подняла глаза, и я поняла, почему все переписчики брали слово «непроницаема» друг у друга. Не из лени. Просто другого не было.

Она смотрела так, как смотрят на страницу.

— Ты болела, — сказала она.

— Три дня, ваше величество.

— Чем.

— Жаром. — Я сделала паузу ровно такой длины, какую могла себе позволить. — Лекарь называл причину. Я её не запомнила.

— Лекари всегда называют причину. — Кисть в её руке легла на подставку. — Это входит в стоимость.

Слева от платформы шевельнулась тень, и я увидела, что мы не одни.

Женщина стояла у второго столба — немолодая, прямая, в тёмном без узора. Волосы полностью седые, убраны туго. Она не поклонилась мне и не поздоровалась, и вообще держалась на правах предмета обстановки — того рода предметов, которые здесь стоят дольше, чем люди.

Память Лин Юэ дала имя мгновенно и вместе с именем — короткий, острый укол опаски.

Советница Мэй. Старшая придворная дама. Тридцать лет при дворе, пережившая двух правителей.

В «Записках» она упоминалась одиннадцать раз и ни разу — с оценкой. Просто присутствовала. Ни хвалы, ни хулы, ни выводов.

За двенадцать лет работы я усвоила: если человек тридцать лет при дворе и о нём нечего сказать — это не значит, что он никто. Это значит, что он очень хорошо работает.

— Восьмого числа, — сказала Тяньхуан, — ты относила бумаги в Палату обрядов.

Это был не вопрос, так что я промолчала.

— Ты шла через северный переход. Мимо кабинета, где в тот час сидели трое. — Она смотрела на меня и не мигала. — Дверь была приоткрыта.

Вот оно.

Внутри у меня всё сделалось очень тихим и очень ясным, как бывает перед защитой, когда оппонент открывает рот, и ты уже знаешь, что он спросит, и знаешь, что ответишь.

Я не знала, что там было сказано за той дверью. Память Лин Юэ этого не отдала — она отдала лестницу, поклон и запах курильниц, а разговор, из-за которого её убили, забрала с собой.

Зато я знала кое-что другое.

Я знала, что императрица не спрашивает о том, чего не знает сама.

— Дверь была приоткрыта, ваше величество, — сказала я.

— И?

— И я прошла мимо.

Тяньхуан чуть склонила голову набок.

— Быстро?

— Обыкновенно, — сказала я. — Быстро — заметно.

В зале ничего не изменилось. Только советница Мэй у второго столба переступила с ноги на ногу, и это был первый звук, который она издала.

— Младшая дама западного крыла, — медленно проговорила Тяньхуан, — рассуждает о том, что заметно, а что нет.

Ошибка.

Я сделала её меньше чем за пять вдохов после начала разговора и прекрасно это понимала. Лин Юэ так не говорила. Лин Юэ вообще, судя по всему, старалась не говорить.

Дальше следовало сделать одно из двух: испугаться и залепетать — или идти вперёд.

Испуганную младшую даму императрица отпустит и забудет. Забыть меня было бы спасением ровно до того дня, когда за мной придут те же люди, что пришли за прежней хозяйкой этого тела.

А приходить они будут — я в этом не сомневалась. Восьмого числа Лин Юэ услышала за дверью что-то, чего не должна была. Двенадцатого её похоронили бы. Меня спасло только то, что я приехала слишком быстро и заняла место раньше, чем оно освободилось окончательно.

Значит, вперёд.

— Ваше величество, — сказала я, — при государе Юаньхэ был случай с дозорным на восточной стене.

Кисть Тяньхуан осталась на подставке.

— Продолжай.

— Дозорный увидел с башни, что через реку идут не купцы. Он не спустился и не поднял тревогу — он остался стоять и досмотрел до конца, а потом пошёл вниз обычным шагом. Его после судили за медлительность. — Я держала взгляд на её воротнике, не выше. — Он ответил, что если бы побежал, на стене узнали бы все, включая тех, кто на реке.

— Его оправдали?

— Его повысили.

В зале сделалось очень тихо.

Я знала, что делаю. Я привела прецедент — не оправдание, не объяснение, а прецедент, и привела его так, как это делают в докладной записке: с именем правления, с обстоятельствами, с исходом. Так говорят чиновники высокого разряда. Так не говорит девушка, которая носит бумаги.

Тяньхуан молчала долго.

Потом произнесла — негромко, без выражения, просто пробуя на слух:

— *Пёс лает раньше, чем видит.*

Две строки. Первая половина, из старого свода наставлений; вторую половину знает всякий, кто вообще открывал эту книгу, и звучит она про то, что мудрый молчит и смотрит.

Она проверяла меня. Это была ловушка вежливого сорта: подхватишь готовое окончание — покажешь, что училась по учебнику для домашних девиц.

Я подняла глаза чуть выше, чем позволялось, и ответила другим:

— *А сокол видит раньше, чем летит. Но кормят обоих с одной руки.*

Мэй у столба не шевельнулась. Совсем. Так не шевелятся, когда очень хотят пошевелиться.

Строки были не из свода наставлений. Они были из позднего частного письма, которое цитировалось в одном-единственном комментарии, и цитировалось как пример дерзости, за которую автора отправили служить на границу.

Смысл в них был простой и наглый: и тот, кто предупреждает, и тот, кто действует, одинаково зависят от того, кто их кормит.

Я сказала императрице, что моя польза для неё зависит от того, как она со мной обойдётся.

Тяньхуан улыбнулась.

Улыбка вышла короткая и очень нехорошая, и в ней при этом было чистое, ничем не прикрытое удовольствие человека, которому наконец подали что-то, чего он не пробовал.

— Мэй, — сказала она, не поворачивая головы. — Ты слышала?

— Слышала, ваше величество.

— Откуда это?

— Из письма, — ответила Мэй ровным голосом. — Автора выслали.

— Куда?

— На северную заставу.

— Значит, дожил. — Тяньхуан снова взяла кисть. — Оттуда возвращались.

Она обмакнула её, и провела по бумаге, и заговорила уже совсем другим тоном — деловым, будничным, тоном человека, который закончил одно дело и начал следующее:

— Через месяц экзамены. Списки допущенных сводят в Палате обрядов, и сводят их дурно: у меня третий год одни и те же ошибки в одних и тех же уездах. Ты умеешь читать перечни?

— Умею, ваше величество.

— Будешь читать. Сверять уездные списки со столичными и подавать расхождения Мэй.
— Кисть не остановилась. — Каждый день. Молча.

— Да, ваше величество.

— И, Лин Юэ.

Я замерла.

— Дозорного с восточной стены, — сказала Тяньхуан, глядя в бумагу, — через год всё-таки казнили. За то, что он и во второй раз никуда не побежал.

Из зала я вышла на своих ногах и до поворота галереи держалась прилично.

За поворотом остановилась и постояла, положив ладонь на столб.

Меня трясло. Не сильно — мелко, в кистях, той дрожью, которая приходит с опозданием и не спрашивает разрешения. Я смотрела на свои чужие пальцы и понимала, что только что получила должность.

Даже не должность: мне только что выдали доступ.

Уездные списки допущенных к экзаменам. Все имена, все уезды, все рекомендатели. Каждый день. Своими руками.

Я двенадцать лет писала о фальсификации на кэцзюй по трём косвенным упоминаниям и одной таблице, восстановленной наполовину. Теперь мне выдали исходники.

Это было настолько щедро, что становилось страшно. Императрица не раздаёт доступ к спискам младшим дамам, которые удачно ответили на цитату. Императрица кладёт приманку и смотрит, кто к ней подойдёт.

Я не была уверена, кем в этой схеме назначена — охотником или приманкой.

Галерея выходила во внутренний сад, и я пошла по ней, потому что стоять на месте было хуже.

Сад после дождя стоял голый и мокрый. Сливовые деревья ещё не зацвели, только набухли, и на чёрных ветках сидели тугие тёмные почки, и с них капало. Между камнями лежал старый снег — серыми клиньями с северной стороны, там, куда не доставало солнце. Пруд был затянута тонкой коркой, и корка эта у берега подтаяла и отошла, и по чёрной воде плавали прошлогодние листья.

Пахло мокрой корой и дымом. Где-то за стеной кричала птица, однообразно, с равными промежутками.

Я шла и складывала в голове то, что успела получить, и получалось немного.

Императрица знает о разговоре восьмого числа. Императрица знает, что Лин Юэ шла мимо. Императрица не сказала, о чём был разговор, — и это значит либо что она не знает, либо что проверяет, знаю ли я.

Советница Мэй узнала цитату из частного письма трёхсотлетней давности за половину вдоха.

И где-то в этом дворце ходит человек, который уверен, что напугал младшую даму достаточно, чтобы она молчала.

— Госпожа роняет рукав в воду.

Я остановилась.

Он стоял у поворота галереи, там, где она уходила к восточным воротам, и стоял, судя по всему, уже некоторое время.

Первое, что я отметила, — рост. Он был выше всех, кого я сегодня видела, на полголовы, и стоял в этом чужом росте спокойно, без той сутулости, которую высокие люди приобретают, живя среди невысоких.

Второе — одежда. Одет он был по-здешнему, и одет правильно: покрой, цвет, длина, посадка пояса. Ошибок не было ни одной.

Именно это и выдавало. Местные носят своё небрежно. Так безупречно одеваются только те, кому одежда — иностранный язык, выученный до совершенства.

Волосы тёмные, вьющиеся, убраны под шапку не полностью. Кожа смуглее. Разрез глаз другой, скулы другие, нос другой. Лет сорок пять или около.

Мой рукав действительно свисал через перила, и нижний край его лежал в подтаявшей луже на плитах.

Я подобрала рукав.

— Благодарю.

— Не за что. — Он говорил чисто, почти без выговора, и вот это «почти» было слышно ровно настолько, чтобы напоминать о себе. — Шёлк такого крашения линяет с края. Через день пошло бы пятно, а пятно на рукаве младшей дамы — это разговор с кастеляншей.

Я посмотрела на него.

Он смотрел на меня.

И взгляд у него был не такой, как у Тяньхуан. Императрица смотрела на страницу. Этот смотрел на опись: сколько стоит, откуда привезено, в каком состоянии и почему оно оказалось здесь, а не там, где ему положено быть.

Он оценивал меня. Открыто, спокойно, не скрываясь, — и, судя по лицу, результат оценки его чем-то не устраивал.

Дело было не в том, что я плоха: у него не сходились цифры.

Память Лин Юэ подала: посол западных земель. Три года при дворе. Держится в стороне, приглашается всюду.

Имени память не дала. Лин Юэ, похоже, никогда не имела повода его произносить.

— Вы стоите здесь, — сказала я, — с того момента, как я вышла.

Он усмехнулся.

— Я стою здесь потому, что отсюда виден восточный двор. Через восточный двор проходят повозки. Мне интересны повозки. — Он чуть развёл руки. — Скучное занятие для человека при дворе, но у меня скучная должность.

— И много прошло повозок?

— Ни одной. — Он опустил руки. — Зато из зала вышла младшая дама, которую вызывали одну. Это дороже повозки.

Я поняла, что мне следует поклониться и уйти.

Я поняла также, что стою и не ухожу.

— Кайран, — сказал он. — Посол торгового дома западных земель. Мне следовало назваться раньше, но вы бы тогда не ответили.

— Почему?

— Потому что вам сегодня уже задавали вопросы, — сказал он. — И вы на них отвечали. Это видно по плечам.

Он поклонился — по-здешнему, безупречно, — и пошёл в сторону восточных ворот, и на повороте не оглянулся, и вот это отсутствие оглядки было хуже всего.

Я стояла с мокрым рукавом в саду, где ещё не зацвела слива, и очень отчётливо понимала, что за один день меня прочитали дважды.

Императрица прочитала мою речь.

Этот прочитал мои плечи.

Мэй нашла меня в переходе, у самой лестницы западного крыла.

Она не подошла — она просто оказалась рядом, идя в том же направлении, на полшага сзади, и заговорила, глядя вперёд.

— Списки будете брать у второго писца, — сказала она. — Не у первого. Первый спрашивает, зачем.

— Хорошо.

— Расхождения выписывайте на отдельный лист. Не помечайте в самих списках. Никогда.

— Хорошо.

Мы поднялись на четыре ступени.

— Вы хорошо ответили, — сказала Мэй. — Про сокола.

— Благодарю.

— Это была не похвала.

Ступени под ногами были стёртые, с прогибом посередине, и я подумала о том, сколько поколений придворных дам надо, чтобы продавить камень.

— В ваши годы, — сказала Мэй, — при дворе не знают частных писем трёхсотлетней давности. В ваши годы при дворе не знают, что дозорного казнили на второй раз. Я знаю, потому что тридцать лет читаю то, что мне не полагается. Вы — не знаю почему.

Она остановилась на площадке.

Я остановилась тоже.

— Мне безразлично, — сказала она, глядя мне в лицо, и голос у неё не изменился ни на волос. — Я служу не вам и не вашим тайнам. Я служу ей. Но раз уж вы теперь ходите к спискам, вам следует знать одну вещь, и я скажу её один раз.

Внизу, под лестницей, кто-то прошёл, и шаги удалились.

— Восьмого числа Лин Юэ шла через северный переход, — сказала Мэй. — Девятого её нашли на полу в её комнате. Лекарь написал — жар.

— Я знаю, — сказала я. — Я лежала три дня.

— Вы лежали три дня, — согласилась Мэй. — А чашу с вечерним отваром вам приносили из общей кухни. И приносила её не ваша служанка, потому что вашу в тот вечер отослали за бельём.

Я стояла и молчала.

— В этом дворце от жара не умирают за одну ночь, — сказала советница Мэй. — Умирают от того, что пьют.

Глава 3. Карта двора

Вечерний отвар мне принесли в час собаки, как и все предыдущие вечера.

Я знала об этом за полчаса, потому что сидела у окна и слушала. За полчаса в западном крыле происходит немного: сначала гасят фонари в дальнем конце галереи, потом идут за водой, потом кто-то из младших дам смеётся у лестницы, потом наступает та часть вечера, когда все уже у себя, а спать ещё рано.

Именно в эту часть и приносят отвары.

Чашу поставили на подставку, поклонились и вышли. Служанка была не моя — моя, Пин, вернулась с бельём только к ночи, — и это повторялось третий вечер подряд, и я третий вечер подряд делала вид, что не замечаю.

Отвар был тёмный, густой, с горчинкой. Пах корой и чем-то сладким поверх.

Я взяла чашу, поднесла к губам и наклонила её так, чтобы жидкость дошла до края и остановилась.

Потом отставила и стала ждать.

Через некоторое время я вылила отвар в горшок со сливовым деревцем, которое стояло у меня в углу и уже дважды за эти дни получило свою порцию.

Деревце пока держалось. Меня это тревожило больше, чем успокаивало: если бы оно начало сохнуть, я бы хоть что-то знала.

Так что я села за низкий столик, придвинула лампу и занялась единственным делом, которое умела делать хорошо.

Я стала составлять карту.

Записывать было нельзя.

Это я поняла в первый же вечер, и поняла не из осторожности, а из профессионального опыта: за двенадцать лет я перечитала достаточно материалов следствий, чтобы знать, чем заканчиваются найденные при обыске бумаги. Ничем хорошим они не заканчиваются никогда — даже если в них написана чистая правда, особенно если в них написана чистая правда.

Значит, карта должна была лежать в голове.

Я использовала то, чему меня научили на первом курсе и что я потом двенадцать лет применяла к экзаменационным билетам, к спискам литературы и к именам византийских чиновников: раскладывала знание по помещениям.

Дворец подходил идеально. Я знала его планировку по «Запискам» лучше, чем по собственным ногам.

Восточный двор я отдала кланам. Там, у ворот, поставила старый род Чжао — четыре поколения при дворе, всё потеряли на реформе экзаменов, ненавидят её открыто и оттого неопасны. Дальше, у навеса, — род Пэй, потерявший меньше и молчащий больше. Под навесом, там, где сохли свитки, я разместила род Хань, у которого дочь в императорской свите и который поэтому не может себе позволить громких мнений.

Северный переход я отдала чиновникам. Тем самым, отобранным на экзаменах, поднявшимся из ниоткуда, обязанным ей всем. Их было много, и они делились на два сорта: тех, кто помнит, откуда пришёл, и тех, кто уже забыл.

Западное крыло я оставила себе.

А зал совета отдала Вэй Чжуну.

Он стоял там один, посреди пустого зала моей памяти, сухой и прямой, с опущенным левым веком, и я расставляла вокруг него то, что знала.

Знала я много и знала невесело.

Вэй Чжун не был бунтовщиком. Бунтовщика при дворе видно за квартал, и с бунтовщиком просто. Вэй Чжун тридцать лет служил государству и служил безупречно, и в «Записках» приводились три его доклада, из которых один я в своё время разбирала на семинаре как образец административной мысли.

Он искренне полагал, что женщина не может править. Не из злобы, не из корысти — из порядка вещей. Так же искренне, как я полагала, что вода мокрая.

С такими людьми нельзя договориться, потому что им нечего предложить. Им уже всё дано: они правы.

К заговору он придёт не сразу. По «Запискам» — к концу этого года, и придёт медленно, аккуратно, собирая по одному, и каждому будет казаться, что это его собственная мысль.

А закончится всё через год с небольшим, и закончится успешно.

Я сидела над остывающей лампой, смотрела в тёмное окно и второй вечер подряд упиралась в одно и то же место.

Я знаю, чем это кончится. Это моё преимущество.

И это же значит, что я знаю, чем это кончится.

Второй писец Палаты обрядов оказался человеком лет сорока, с землистым лицом и той особой сутулостью, которую даёт не возраст, а стол.

Мэй была права: он не спросил, зачем.

Он вообще ничего не спросил. Выслушал, кивнул, ушёл вглубь и вернулся с двумя связками, и на лице у него было написано облегчение человека, у которого забрали часть работы.

— Уездные за прошлый месяц и за позапрошлый, — сказал он. — Столичные сводные — вон там, их не выношу, смотрите на месте.

Палата размещалась в длинном низком здании с окнами по одной стороне. Пахло тушью, клеем и мышами. Вдоль стены стояли стеллажи, и на стеллажах лежали связки, и связки были уложены не по годам, а по уездам, что означало, что человек, который их укладывал, думал головой.

Я села к окну, развязала первую связку и на два часа перестала существовать.

Это было хорошо. Это было первое за неделю занятие, в котором я чувствовала себя на своём месте, и я даже забыла, что нахожусь в чужом теле в несуществующем царстве. Списки — они и есть списки. Имя, уезд, возраст, имя рекомендателя, отметка о допуске.

Расхождения полезли сразу, и первые были скучные: писарские ошибки, разночтения в написании имён, один уезд, приславший сводку на месяц позже и потому не попавший в столичный перечень.

Я выписывала их на отдельный лист, как велела Мэй.

А потом наткнулась на уезд Цинъян.

В уездном списке значилось сорок два допущенных. В столичном сводном от того же уезда — тридцать восемь.

Четырёх не было.

Я проверила ещё раз. Потом сверила почерк на уездном свитке — один и тот же, ровный, без правок. Потом посмотрела на четверых выпавших.

Все четверо — без родового имени, которое что-нибудь значило бы. Рекомендатели — уездные, мелкие.

То есть выпали именно те, кому кэцзюй и открывали. Те, кто пришёл ниоткуда.

Я положила кисть и посмотрела в окно.

За окном шёл мелкий дождь, косой, и по двору Палаты бежал мальчишка-посыльный, прикрывая голову доской, и доска ему не помогала.

Четверо из одного уезда. За месяц.

В «Записках» о фальсификации на экзаменах говорилось глухо, задним числом и без цифр — как о том, что вскрылось много позже и уже никого не спасло. Я всегда считала это место слабым: слишком общо, ни одной проверяемой детали, явная вставка позднего редактора.

Сейчас у меня в руках лежала проверяемая деталь. Их было четыре, и у них были имена.

— Госпожа Лин Юэ.

Я подняла голову.

В дверях стоял человек в тёмно-синем, и на поясе у него была бляха, которую память Лин Юэ опознала мгновенно и с почтением.

Советник Ло Цзянь. Глава Палаты обрядов.

Я встала и поклонилась.

Он не ответил на поклон.

Вот это меня и озадачило прежде всего, потому что не ответить на поклон младшей даме, состоящей при поручении императрицы, — это не пренебрежение. Это заявление.

— Вам выданы уездные списки, — сказал он.

— По распоряжению её величества, советник.

— Мне известно.

Он прошёл вдоль стола, посмотрел на разложенные свитки, на мой лист с выписками, и я порадовалась, что писала расхождения кратко и без пометок на самих списках.

— Столичные сводные, — сказал он, — вы будете смотреть в присутствии писца. Уездные — не выносить. Работать здесь, в часы Палаты.

— Прежде мне было позволено...

— Прежде вам ничего не было позволено, — сказал Ло Цзянь. — Вам это только что определили. Мною.

Он поднимал глаза.

Ему было под шестьдесят, лицо круглое, мягкое, из тех лиц, которые с возрастом делаются добродушными помимо воли хозяина. Глаза к этому лицу не подходили.

Он смотрел на меня с открытой, ничем не прикрытой неприязнью. Не с подозрением — с неприязнью, личной и застарелой, той, которую нельзя завести за неделю.

— Вы отсутствовали три дня, — сказал он. — Жар?

— Жар, советник.

— Бывает. — Он повернулся к двери. — В Палате бумаг много. Люди в ней иногда портятся от пыли.

И вышел.

Я стояла над столом, и по спине у меня шёл холод, и холод этот не имел никакого отношения к сквозняку.

Потому что советник Ло Цзянь в «Записках» упоминался четырежды.

Четырежды — и все четыре раза как человек, державшийся в стороне. Ни к кому не примкнул. Пережил всё. Умер на седьмом году, дома, в своей постели, и племянник получил после него должность.

Образцовый нейтралитет. Я его даже приводила в пример, когда объясняла студентам, что в описываемую эпоху выживали не самые смелые.

Человек, у которого нет ни одной причины меня ненавидеть, только что дал мне понять, что ненавидит.

Одно из двух. Либо мой источник врал.

Либо здесь уже что-то пошло не так — и пошло до того, как я сюда попала.

Обе возможности были плохие. Вторая была хуже.

Дождь к вечеру перестал, но небо не разошлось, и от этого сумерки наступили раньше срока.

Я шла обратно через восточный двор, потому что западный переход перекрыли на починку, и на середине двора меня догнал голос.

— Уезд Цинъян.

Я остановилась.

Кайран стоял у повозки — настоящей, гружёной, с рогожей поверх тюков, — и разговаривал с возчиком, и вид у него был самый деловой. Возчик, услышав, что хозяин отвлёкся, тут же начал развязывать узел с той медлительностью, с какой люди тянут время.

— Простите?

— Я сказал: уезд Цинъян. — Кайран отошёл от повозки. — Вы вышли из Палаты обрядов и всю дорогу до середины двора смотрели в землю. Люди смотрят в землю, когда считают.

— Люди смотрят в землю, когда мокро.

— Мокро было и утром. Утром вы смотрели на крыши.

Я подобрала рукав — на этот раз заранее.

— Вы наблюдаете за мной, посол.

— Я наблюдаю за всеми, — сказал он спокойно. — Вы просто заметили. Это уже второй раз, и второй раз меня удивляет.

Он произнёс что-то ещё.

Не по-здешнему. Короткая фраза, гортанная, с ударением в конце.

Я моргнула.

Он подождал, потом сказал другую — мягче, тягучее, с длинными гласными, и в этой я расслышала знакомый корень, но только корень.

Я молчала.

Тогда он сказал третью.

И вот тут у меня дёрнулось лицо, потому что третью я узнала — не на слух, глазами. Так бывает, когда всю жизнь читаешь язык и никогда его не слышишь: звучание проходит мимо, а потом одно слово встаёт в нужной форме, и текст сам собирается на внутренней стороне век.

Это было старое книжное наречие западных земель. То, на котором написаны договоры о проходе караванов. Я разбирала три таких договора в приложении к «Запискам» и помнила, что там был скверный перевод и что я его выправляла.

Он сказал: *«Товар, который лежит на границе, дорожает каждый день».*

Я успела не ответить.

Я не успела не понять, и он это увидел.

Кайран смотрел на меня очень внимательно, и в первый раз за два наших разговора у него сделалось выражение человека, который был почти уверен и только что перестал быть почти.

— Три языка, — сказал он по-здешнему. — На первом вы не поняли ничего. На втором слышали корень. Это степной, его тут ловят на слух все, кто торговал. А третий — книжный. Его не слышат. Его читают.

— Я не читаю на нём.

— Госпожа Лин Юэ, — сказал он мягко, — вы дослушали фразу до конца, а потом перевели взгляд с моего рта на мои руки. Так делают, когда поняли слова и перешли к тому, что за ними.

Двор был пуст. Возчик за его спиной развязал узел до конца и теперь очень старательно завязывал обратно.

— Чего вы хотите, — сказала я.

— Спросить.

— Спрашивайте.

— Уезд Циньян, — сказал Кайран. — В столичных сводных за прошлый месяц у него меньше имён, чем в уездном свитке. Насколько меньше?

Я стояла на мокрых плитах восточного двора, и во мне медленно поворачивалась одна большая холодная мысль.

— Откуда вы знаете про Циньян.

— Оттуда, — сказал он, — что через Циньян идёт южная ветка. Мимо соляных складов. Я третий год вожу через этот уезд и третий год плачу там пошлину человеку, которого назначили не по экзамену. — Он чуть склонил голову. — Я не читаю ваших списков, госпожа. Я читаю свои расписки. И в моих расписках уезд Циньян за последние два года переменял всех людей на всех местах — а такое бывает, когда кто-то очень методично сажает на дорогу своих.

Он сделал шаг ко мне и понизил голос.

— Я ищу, кто это делает. Уже полтора года. Я знаю, где он сажает и сколько это стоит. — Пауза у него вышла ровная, отмеренная. — Я не знаю, кто он и зачем ему дорога. Я думал — деньги.

— А теперь?

— А теперь мне из Палаты обрядов выносят младшую даму, которая считает те же уезды, что и я. — Кайран смотрел мне в лицо. — И я думаю, что дело не в дороге.

Возчик кашлянул. Кайран, не оборачиваясь, поднял ладонь, и возчик замолчал.

— Вы понимаете, что это значит, госпожа?

Я понимала.

Я понимала это с той тошнотворной ясностью, с какой понимаешь, что твой источник, которому ты доверяла двенадцать лет, отстаёт от жизни на два года.

Заговор Вэй Чжуна должен был начаться к концу этого года.

Он начался позапрошлой весной. И начался не с людей — с дороги.

Глава 4. Союз

Бумага пришла через Палату обрядов, и это было первое, что меня насторожило.

Не записка и не слово через слугу, а официальное отношение, поданное в Палату, зарегистрированное в Палате и выданное мне на руки вторым писцом с тем же выражением облегчения, с каким он выдавал списки.

«Торговый дом западных земель извещает: к весенним поставкам для внутренних дворов доставлены образцы шёлка-сырца, войлока и стеклянной посуды. Для отбора образцов испрашивается присутствие лица, состоящего при описях».

Внизу — приписка рукой, которую я видела впервые. Почерк был здешний, аккуратный, поставленный, и в нём не было ни одной ошибки, и ровно поэтому он выглядел выученным.

Я перечитала бумагу трижды и оценила работу.

Он не пригласил меня. Он подал запрос на человека, который умеет читать перечни, — а такой человек при дворе теперь был ровно один, и назначила его императрица.

Отказаться означало объяснять, почему я отказываюсь. Пойти означало пойти по делу.

И ни один человек, читающий эту бумагу, не мог сказать, что тут что-то не так, — а читать её будут, я не сомневалась.

Второй писец поставил печать и посмотрел на меня поверх стола.

— Повозку дадут от Палаты, — сказал он. — Возвращаться до закрытия ворот. После закрытия — ночевать в квартале, а это в отчёт.

— Я вернусь до закрытия.

— Все так говорят, — сказал второй писец с непонятной интонацией и снова уткнулся в бумаги.

Западные кварталы начинались за третьим каналом, и начинались резко.

Я сидела в крытой повозке, отодвинув занавеску на ладонь, и смотрела, как правильная столица кончается.

Кончалась она постепенно. Сначала шли те же прямые улицы, те же серые стены усадеб, те же ворота на оси. Потом стены стали ниже. Потом в них появились лавки — прорубленные прямо в ограде, с откинутыми ставнями-прилавками. Потом улица перестала быть прямой.

А потом ударил звук.

Я не была готова к звуку. Я читала об этом квартале в семи источниках, и во всех семи он описывался через товары: сколько привозили, откуда, по какой цене. Ни один не написал, что там так громко.

Кричали на четырёх языках сразу. Гремело железо. Где-то били в барабан, коротко и без ритма, и кто-то тут же начинал ругаться на этот барабан. Скрипели оси. И поверх всего шёл низкий, длинный, недовольный звук, который я опознала не сразу и, опознав, чуть не потеряла лицо перед возчиком.

Верблюды.

Их было много. Они лежали и стояли во дворах постоянных дворов, облезлые после зимы, с проплешинами на боках, и от них шёл густой тёплый дух, и на этот дух накладывался дым, а на дым — пряности.

Люди тоже были не те. Хусцы — так их звали здесь, и звали без большой любви: бороды, другой покррой, серьги в ушах у мужчин, и все они двигались быстрее и говорили громче, чем полагалось в Великом Луне.

Я сидела за занавеской и держалась за раму, и во мне билось совершенно неуместное, стыдное, огромное восхищение.

Я реконструировала этот квартал по описям пошлин. У меня была статья про его планировку. Я оценивала численность общины по количеству мясных лавок.

Мясных лавок было гораздо больше.

Двор торгового дома оказался чистым, тихим и обманчиво скромным: серые стены, ворота без резьбы, никакого золота. Внутри, за воротами, стояли весы.

Не декоративные, а большие рабочие весы под навесом, с гирями на подставке, и рядом с ними — стол, и на столе стопка расписок, придавленная камнем.

Первое, что видит входящий, — то, чем здесь меряют.

— Госпожа Лин Юэ.

Кайран вышел из-под навеса, вытирая руки полотенцем. Одет он был проще, чем во дворце, и здесь эта простота смотрелась естественно — впервые с тех пор, как я его увидела, на нём ничего не выглядело выученным.

— Образцы, — сказала я.

— Образцы есть, — согласился он. — Они настоящие. Я не подаю в Палату бумаг, которые нельзя проверить.

Образцы мы смотрели полчаса, и смотрели всерьёз.

Стеклянная посуда была хороша. Я взяла в руки чашу и повернула её к свету, и по стенке пошла зеленоватая волна, и в толще стояли мелкие пузырьки, вытянутые в одну сторону.

— Дутое, — сказала я. — И везли на юг, вдоль солёных озёр.

Кайран, который в этот момент разворачивал войлок, остановился.

— Почему на юг?

— Пузырьки вытянуты. — Я поставила чашу. — Значит, дули быстро, значит, печь была горячая, значит, топили не кизяком. А топить не кизяком по этой дороге можно в двух местах.

Он положил войлок и посмотрел на меня.

— Вы сейчас, — сказал он медленно, — по пузырькам в стекле определили дорогу.

— Я определила топливо. Дорогу вы мне сами сказали, когда назвали срок поставки.

— Я не называл срока.

— Вы написали «к весенним поставкам». Значит, груз уже здесь. Значит, вышел зимой. Зимой северную ветку закрывает снег.

В его лице что-то переменялось, и я увидела наконец, как он выглядит, когда не считает.

— Госпожа Лин Юэ, — сказал он. — Давайте сядем.

Сели во внутренней комнате, где окна выходили во двор и где, как он сказал, стены общие только с кладовой.

— Здесь можно говорить, — сказал он. — Не потому, что тут никто не слушает. Потому что тут все слушают всех, и никого это не удивляет. Ваш двор устроен наоборот: там подслушивание — событие. Событие можно доказать. А здесь ничего не докажешь.

— Нейтральная земля.

— Нет, — сказал он. — Шумная. Это разное, но работает похоже.

Он налил воду — не вино, воду, — и это я тоже отметила.

— Я скажу прямо, — сказал он, — насколько это возможно с человеком, которого знаю четыре дня. Мне нужны ваши списки. Вам нужны мои расписки. Дальше можно торговаться, а можно не тратить время.

— Начнём с ваших.

Он вынул связку и положил на стол.

Расписки были простые: кто, кому, сколько, за что, за какой месяц. Я развязала и начала читать, и на третьем листе у меня застыли пальцы.

— Кто такой Ло Ань?

— Смотритель переправы в Цинъяне. — В бумаги Кайран не заглядывал; он следил за моим лицом. — Берёт сверх положенного вторую долю. Не для себя — вторую долю он сдаёт наверх, я это знаю, потому что при мне однажды пересчитывали.

— Как давно он там?

— Второй год.

— А до него?

— До него был человек по имени Дуань. — Кайран отодвинул чашу. — Двадцать лет сидел. Хорошо сидел, брал по чину. Потом его перевели.

Я положила расписку и придавила её ладонью, чтобы не было видно руки.

Ло. Родовое имя.

Ло Цзянь, глава Палаты обрядов, который вычёркивает четверых из уездного списка и не отвечает на поклон. И Ло Ань, который сидит на переправе того же уезда и второй год снимает вторую долю.

В «Записках» после смерти Ло Цзяня должность получил его племянник.

Имени племянника в «Записках» не было.

— Вы побледнели, — сказал Кайран.

— Я не бледнею.

— Вы побледнели, — повторил он спокойно. — И положили расписку лицом вниз. Это второе. Первое было четыре дня назад, во дворе, когда вы слышали слово «Цинъян».

Я убрала руку с листа.

Дальше следовало решать. Я это понимала очень ясно, и понимала, что решать надо сейчас, за этим столом, с водой и войлоком, потому что второй такой возможности не будет: бумагу из Палаты дважды не подают.

Я знала линии этого двора. Я знала все имена, все союзы и то, чем всё кончится.

И за четыре дня я успела дважды убедиться, что моё знание отстаёт от происходящего.

Мне нужен был человек, который видит здесь и сейчас.

— Ло Цзянь, — сказала я. — Глава Палаты обрядов. Он вычёркивает имена из уездных списков. Не всех подряд — тех, у кого нет за спиной рода. За прошлый месяц по Цинъяну четверых.

Кайран не переспросил и не удивился. Он просто сел прямее.

— Один уезд?

— Я смотрела один. Я начала с него, потому что вы назвали его первым.

— Сколько уездов вам доступно?

— Сорок с лишним. Но не выносить. Работать в Палате, в часы Палаты, под писцом.

— Кто определил?

— Он.

Кайран помолчал.

— Тогда у вас неделя, — сказал он. — Может, две. Человек, который ставит вам такие условия, уже решил вас убрать; он просто ещё не выбрал способ. Ограничения ставят не тем, кому не доверяют. Ограничения ставят тем, за кем удобно наблюдать перед тем, как убрать.

Сказано это было тем же ровным тоном, каким он говорил про топливо и печи.

— Спасибо, — сказала я. — Утешили.

— Я не утешаю. Я называю цену. — Он подвинул связку расписок ко мне. — Теперь моя очередь говорить прямо.

Он положил ладони на стол.

— Я не торговый посол, госпожа Лин Юэ. То есть посол, и торговый, и всё, что написано в моих бумагах, правда. Но я здесь третий год не ради шёлка. Моему дому нужна открытая дорога. Дорога открыта, пока в Срединном царстве сидит эта женщина, потому что она построила всё своё правление на людях, которых сама подняла, а поднятым людям нужна торговля — с неё кормятся их уезды. Старым родам торговля не нужна. У них есть земля.

— Если её свергнут, границу закроют.

— Не сразу, — сказал он. — Сначала поднимут пошлину. Потом введут дозволения. Потом дозволения станут выдавать только своим. Через шесть лет дороги не будет. Я видел, как это делается, дважды.

— И поэтому вы её защищаете.

— Я защищаю дорогу, — сказал Кайран. — Она к дороге прилагается. Я не буду говорить вам красиво, вы всё равно не поверите.

Я поверила именно поэтому.

— Условия, — сказал он.

— Говорите.

— Я даю вам всё, что идёт снизу: расписки, имена на местах, суммы, сроки, перемещения людей на дорогах. Это то, чего нет ни в одной вашей палате, потому что никто во дворце не считает переправы. Вы даёте мне то, что идёт сверху: кто с кем, кто кому обязан, куда ведут линии. Обмен посменный: я не отдаю всё сразу, вы тоже. Если один из нас останавливается — второй останавливается тем же днём, без объяснений и без обид.

— Обеспечение?

Он одобрительно наклонил голову — как человек, услышавший правильный вопрос.

— С моей стороны — то, что я иностранец. Меня нельзя допросить как подданного, меня можно только выслать, а выслать посла — это переписка на полгода. С вашей — то, что вы приставлены императрицей. Пока приставлены.

— Плохое обеспечение.

— Очень плохое, — согласился Кайран. — У обоих. Поэтому договор расторгается легко: любой из нас говорит «довольно», и второй не спрашивает почему. Это не великодушие. Это единственный способ, при котором ни один из нас не станет ждать удара в спину и не начнёт бить первым.

Я сидела и смотрела на воду в чаше.

Он предлагал сделку. Настоящую, с условиями, обеспечением и порядком расторжения, — и я понимала, зачем он делает это именно так. Всё, что оформлено, можно исполнить. Всё, что не оформлено, придётся чувствовать.

— Один пункт вы не назвали, — сказала я.

— Назвал все.

— Вы не назвали, что будет, если я солгу.

Кайран поднял глаза.

— Не назвал, — сказал он.

— Почему?

— Потому что вы уже лжёте, — сказал он ровно. — Не в мелочах. Вы лжёте о себе целиком, с первого слова, и делаете это хорошо, и я четыре дня не могу понять, в какую сторону.

Во дворе кто-то уронил гирию. Звук пришёл через окно, тяжёлый и короткий, и следом — ругань на степном.

— И вы всё равно предлагаете договор.

— Я торговец, госпожа. — Он взял свою чашу. — Я много раз покупал товар, о происхождении которого мне ввали. Меня это устраивает ровно до того дня, когда товар не работает.

— А если не сработает?

— Тогда я скажу «довольно».

Он сказал это без нажима, и потому это прозвучало окончательно.

Я протянула руку и положила ладонь на связку расписок.

— Принимаю, — сказала я. — На ваших условиях. С одной поправкой: посменный обмен начинается с вас, потому что вы уже начали.

Уголок его рта дрогнул.

— Справедливо.

— И вторая поправка, — сказала я. — Про то, в какую сторону я лгу, вы спрашивать не будете. Пока я сама не скажу.

— А вы скажете?

— Не знаю.

Кайран подумал.

— Хорошо, — сказал он. — Это тоже условие. Я его принимаю.

Мы сидели друг напротив друга за низким столом, между нами лежали расписки и стояла вода, и всё было оформлено, названо, обеспечено и подлежало расторжению в любой день по слову любой из сторон.

И мы оба совершенно точно знали, что только что произошло что-то другое.

Он это знал раньше меня. Я поняла на середине обратной дороги.

Ворота я успела застать открытыми.

Пин ждала меня наверху лестницы, и лицо у неё было такое, что я ускорила шаг.

— Госпожа, — зашептала она. — Приходили. От господина Шэня.

Она подала свиток.

Я развернула его у себя, при лампе, и села.

Почерк был красивый — по-настоящему красивый, тот, ради которого люди учатся всю жизнь. Восемь строк.

Река у переправы Байши обмелела к весне. Лодочник ждёт, но берег стоит пустой. В прошлом году здесь считали идущих по именам, и до другой стороны дошли не все имена.

Сливу в саду поливают чаще других деревьев. Оттого она и цветёт раньше срока. Если поднесут чашу на празднике весенних фонарей — держи её, госпожа, но пей после того, кто налил.

Я читала это шесть раз.

Сверху лежало обычное придворное стихотворение — весна, река, ожидание, лёгкая печаль. Такие пишут десятками, и за такие не наказывают.

Под ним лежало другое.

Переправа Байши. В «Записках» о ней говорилось дважды, и оба раза глухо: там при прошлом правлении проводили сверку податных списков, и часть людей после сверки исчезла из перечней. Не умерла — исчезла из бумаг. Их просто перестало быть.

Считали идущих по именам, и дошли не все имена.

Он писал мне про уездные списки. Он знал.

Слива, которую поливают чаще других деревьев.

Я очень медленно повернула голову и посмотрела в угол комнаты, где стояло деревце в горшке и где третий вечер подряд оказывался мой отвар.

И последние две строки.

Праздник весенних фонарей был через восемь дней.

Я свернула свиток и долго сидела, положив на него обе ладони.

Молодой придворный поэт, влюблённый в Лин Юэ, — так подавала его память тела: мальчик, стихи, неловкость у лестницы. Мальчик написал мне предупреждение на языке, который при дворе понимают человек пять.

Он знал про списки. Он знал про отвар. Он знал, что будет на празднике весенних фонарей.

Оставался один вопрос, и от этого вопроса у меня пересохло во рту.

Откуда.

Глава 5. Экзамены

Шэня я нашла на четвёртый день, у водяных часов.

Искала я его неправильно — то есть искала долго и осторожно, вместо того чтобы просто спросить, где он бывает. Спросить было нельзя: младшая дама, разыскивающая придворного поэта, — это готовая сплетня, а сплетня в моём положении стоила дороже, чем ответ.

Так что я четыре дня ходила теми переходами, где, по памяти Лин Юэ, он появлялся, и на четвёртый увидела его со спины.

Он стоял у водяных часов во внутреннем дворе Палаты церемоний и смотрел, как капает.

Часы были красивые: три медных сосуда уступом, нижний с поплавком и шкалой, и вода шла из верхнего тонкой, ровной, бесконечной ниткой. Я знала устройство по описанию и один раз видела реконструкцию в музее, где она не работала.

Эта работала.

— Господин Шэнь.

Он обернулся, и я наконец рассмотрела его лицо.

Ему было лет двадцать пять. Худой, с тем сложением, которое дают книги, а не работа. Лицо открытое, слишком открытое для этого места. И в тот момент, когда он меня узнал, по этому лицу прошло всё сразу: радость, испуг, и следом что-то тяжёлое, чего я не ожидала.

Он поклонился ниже, чем требовалось.

— Госпожа Лин Юэ.

— Ваш свиток дошёл.

— Я рад.

— Я хочу поговорить о нём.

— А я — нет, — сказал Шэнь.

Сказано это было вежливо и совершенно твёрдо, и я на секунду растерялась. Память тела подавала мне мальчика, краснеющего у лестницы. Мальчик стоял передо мной и отказывал придворной даме в разговоре.

— Восемь строк, — сказала я. — Верхний слой — весна и река. Нижний — переправа Байши.

Шэнь смотрел на воду.

— Если госпожа прочла нижний слой, — сказал он, — то госпоже он и предназначался. Больше ничего не нужно.

— Мне нужно знать, откуда вы знаете.

— Это как раз то, чего вам знать не нужно.

Он поднял глаза, и мне стало видно, что было тяжёлого в его лице.

— Лин Юэ не умела читать нижние слои, — сказал он тихо. — Я писал ей одиннадцать раз за два года. Она отвечала на верхний. Каждый раз. Она отвечала мило и мимо, и я продолжал писать, потому что мне нравилось, как она отвечает мимо.

Вода капала.

— В прошлый раз, — сказал Шэнь, — я написал нижним слоем нарочно грубо. Так грубо, что понял бы любой, кто хоть раз держал в руках сборник. Она не поняла. — Он помолчал. — А вы прочли за вечер.

Я стояла и не находила, что сказать, — впервые с тех пор, как здесь оказалась.

— Я не буду спрашивать, — сказал он. — Я решил это ещё когда писал свиток. Мне довольно того, что теперь есть кому писать.

— Господин Шэнь...

— И одно, госпожа. — Он всё-таки посмотрел мне в лицо. — Я не знаю, кто наливает. Я знаю только, что на празднике весенних фонарей вам поднесут. Об этом говорил человек, который не считал меня за человека, потому что я поэт, а поэты при дворе — мебель с голосом.

Он поклонился и пошёл прочь, и на середине двора остановился и, не оборачиваясь, сказал:

— *Лёд у берега сходит, а на середине держится. Не ступай на середину, госпожа.*

Праздник весенних фонарей начался с заката и продолжался до утра, и я, честно говоря, не была к этому готова.

Не к опасности. К красоте.

Я знала о нём всё. Я читала описания, разбирала расходные ведомости на масло и бумагу, знала, что запрет на ночное хождение по городу в эти дни снимался и что именно поэтому праздник любили больше всех прочих. У меня даже была лекция, где я объясняла студентам, что три ночи свободного хождения в году — это не милость, а хорошо просчитанный клапан.

А потом я вышла на верхнюю галерею, и подо мной лежал город, залитый огнём.

Фонари были везде. По карнизам, на шестах, на верёвках через улицы, в руках, на воде каналов. Их были тысячи, и они были не одинаковые: белые бумажные, красные шёлковые, зелёные с прорезями, огромные на помостах у ворот и крохотные детские на палочках. Свет от них шёл тёплый, неровный, живой, и от этого света весь Великий Лун со своими прямыми улицами и правильными квадратами перестал быть чертежом.

Снизу тянуло дымом, маслом и жареным тестом. Где-то играли — не церемониальное, а простое, уличное, с барабаном не в такт.

Я держалась за перила и вспоминала, что описывала всё это в двух статьях и что обе статьи были про клапан.

— Госпожа не спускается?

Кайран встал у перил в двух шагах — на приличном расстоянии, ровно на таком, чтобы нас нельзя было назвать разговаривающими наедине.

— Спускаюсь.

— Не спускайтесь, — сказал он, глядя на город. — Внизу вам поднесут вино четыре раза. Это меньше, чем наверху.

Я повернула голову.

— Вы знаете.

— Я знаю, что вы месяц с лишним не пьёте ничего, что вам подают, — сказал Кайран. — Это видно по тому, как вы держите чашу: за верх, а не за низ. Так держат, когда не собираются пить. — Он чуть помолчал. — Мне понадобилось несколько дней, чтобы понять, что это не манеры.

— Мне сказали, что сегодня поднесут.

— Кто?

— Не спрашивайте.

— Хорошо.

Он смотрел вниз, на огни, и лицо у него было спокойное.

— Тогда так, — сказал он. — Наверху сегодня разносят из двух кувшинов: тёплое и холодное. Тёплое несёт кухня внутренних дворов, холодное — Палата обрядов, потому что холодное подают к сладкому, а сладкое сегодня от них. Вам поднесут холодное.

— Почему?

— Потому что человек, который вас убирает, служит в Палате обрядов, а люди пользуются тем, что у них под рукой. — Он повернул голову. — Это не догадка. Это правило. Я двадцать лет смотрю, как воруют, и все воруют тем инструментом, который лежит рядом.

— И что мне делать.

— Уронить.

Я посмотрела на него.

— Уронить, — повторил Кайран. — Не отказаться, не отставить, не пить украдкой. Уронить чашу на пол на глазах у двадцати человек, извиниться, покраснеть и взять другую — из тёплого. Это неловко, это смешно, об этом будут говорить два дня. — Он усмехнулся одними глазами. — А тот, кто наливал, будет знать, что вы не догадались. Люди, которые считают вас дурой, работают медленнее.

Он оттолкнулся от перил.

— И, госпожа. Роняйте на камень, а не на циновку. С камня подотрут, и всё; с циновки будут отчищать, и кто-нибудь понесёт её на кухню.

Я уронила чашу в час крысы, на каменном пороге верхней террасы, и уронила отвратительно.

Она разлетелась. Вино плеснуло на подол ближайшей ко мне даме, дама вскрикнула, кто-то засмеялся, распорядитель дёрнулся, я извинялась вслух и путано и была совершенно, катастрофически неловкой младшей дамой из западного крыла.

Потом мне подали другую чашу, тёплую, и я выпила её до дна.

Он поймал меня за локоть на верхней ступени — я оступилась на мокром камне, и он поймал, и тут же отпустил.

Это заняло, вероятно, полсекунды. Ладонь была жёсткая и очень тёплая через два слоя шёлка, и я успела почувствовать её целиком, от основания пальцев до запястья.

— Осторожнее, — сказал Кайран.

— Благодарю, посол.

Он отошёл на приличное расстояние и стал смотреть на фонари, и я стояла в трёх шагах и смотрела туда же, и внизу горел весь город.

Я поймала себя на том, что считаю, сколько ещё раз до конца праздника нам придётся оказаться рядом по делу.

Это была неуместная мысль, и я убрала её на место, туда же, куда убирала всё, что мешало работать.

Через двадцать шагов от меня стоял Ло Цзянь и разговаривал с кем-то о фонарях.

Он не посмотрел в мою сторону ни разу.

Именно поэтому я и поняла, что он смотрел.

Экзамены начались через два дня после праздника, на рассвете, и город к ним стих.

Это меня поразило отдельно. Только что здесь три ночи горели огни и играли барабаны, и вдруг с первым светом улицы опустели, и на южном проспекте стояла тишина, и в этой тишине шли люди с корзинами.

Их были сотни. Они шли к южным воротам экзаменационного двора, и у каждого была корзина или узел: кисти, тушь, бумага, лепёшки, вода, одеяло. Молодые и не очень. Один совсем старик, с седой косицей, шёл ровно и смотрел прямо перед собой, и я подумала, что он идёт сюда, наверное, в четвёртый раз.

У ворот их обыскивали. Долго, каждого, разворачивая одеяла и разламывая лепёшки, — искали шпаргалки, и находили, и находивших уводили в сторону.

Потом ворота закрывали, и открывали их через трое суток.

Я стояла на помосте для младших чинов вместе с двумя писцами Палаты и держала перечень. Моё дело было простое: отмечать явившихся по столичному сводному.

Ровно то, ради чего я четыре недели просила эти списки.

Дождь начался к полудню — мелкий, холодный, и я подумала о людях, которые трое суток просидят в открытых с одной стороны клетушках, и о том, что в «Записках» про дождь на экзаменах не было ни строчки, потому что кому это интересно.

К вечеру приехала императрица.

Приезд не был объявлен. Тяньхуан вообще, как я успела заметить, не объявляла ничего, что можно было не объявлять. Она поднялась на верхний помост, посмотрела на закрытые ворота, послушала доклад главного распорядителя и задала два вопроса, оба про порядок оцепления.

Потом обернулась и увидела меня.

— Лин Юэ.

Я подошла и поклонилась.

— Явка.

— Восемьсот девять, ваше величество. По сводному — восемьсот тридцать один.

— Двадцать два не пришли.

— Двадцать два не пришли.

— Обычное дело, — сказал главный распорядитель. — Болезни, дорога, кто-то передумал.

— Ваше величество, — сказала я.

Тяньхуан повернула голову.

Я знала, что делаю. Я думала об этом четыре дня и решила, что скажу одно, ровно одно, и скажу так, чтобы это можно было принять за старательность.

— Из двадцати двух неявившихся девятнадцать записаны в третью и четвёртую палаты. Три и четыре стоят в дальнем конце двора, у северной стены.

— И?

— И проверяющий по третьей и четвёртой палатам — один человек, ваше величество. По остальным — по двое.

Молчали недолго.

— Кто ставил расписание палат? — спросила Тяньхуан.

— Палата обрядов, — сказал главный распорядитель. — Как всегда.

Императрица посмотрела на закрытые ворота, за которыми восемьсот человек три дня писали о том, как следует управлять государством.

— Поставьте второго, — сказала она. — Сегодня.

— Ваше величество, посреди испытания менять...

— Поставьте второго, — сказала Тяньхуан, — и не того, кого предложит Палата обрядов.

Возьмите из Палаты земледелия, там сейчас никто не занят.

Распорядитель поклонился и ушёл распоряжаться.

Императрица не двинулась с места.

— Лин Юэ.

— Ваше величество.

— В прошлом году неявившихся было тридцать четыре. — Она смотрела не на меня, на ворота. — Мне подавали это тремя строками, и я читала эти три строки, и мне не пришло в голову спросить, где они сидели.

Я молчала.

— Ты считаешь не то, что тебе велено считать, — сказала Тяньхуан. — Это либо очень хорошо, либо очень плохо. Я пока не решила.

Она пошла к сходням, и на второй ступени остановилась.

— На празднике ты разбила чашу.

У меня похолодели пальцы.

— Я была неловка, ваше величество.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.